
SLAVICA

Агнеш Дуккон¹

Будапештский университет им. Лоранда Этвеша

**ДИАЛОГ ТЕКСТОВ: «ГОЛОС» В.Г. БЕЛИНСКОГО» В
«ЗАПИСКАХ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО**

В статье анализируется парадигма В.Г. Белинский – Ф.М. Достоевский в связи с философическим контекстом середины XIX века, прослеживаются, как отвлеченные идеи, запечатленные в *текстах*, становятся *жизнью*, а жизнь превращается в *слово*.

Ключевые слова: анархизм, двойничество, диалог, Достоевский, философия

Ágnes Dukkon

Budapest, Eötvös Loránd University

**THE DIALOGUE BETWEEN TEXTS: VISSARION
BELINSKY'S «VOICE» IN FYODOR DOSTOYEVSKY'S
«NOTES FROM THE UNDERGROUND»**

The paper reviews the problem of the complex relations between Belinsky and Dostoevsky against the background of philosophical mid-19th century trends, central in the analysis being not the ideas themselves, but *texts*: the article traces how abstract ideas become *life itself* for the critic and the writer, and the way life is transformed into *word* for both.

Key words: anarchism, dialogue Dostoevsky, philosophy, «twinning».

¹ Дуккон Агнеш (венг. Dukkon Ágnes) – доктор филологических наук (по русской литературе), доктор Венгерской Академии Наук (по венгерской литературе ренессанса и барокко); член Комитета Культурологии при ВАН; председатель Компаративистского Комитета Общества Современной Филологии. Место работы: Институт Славянской и Балтийской Филологии, Кафедра Русского Языка и Литературы университета им. Лоранда Этвеша (ELTE) (г. Будапешт).

Уже больше четверти века занимает меня этот вопрос [Дуккон, 1986, Дуккон, 1987, Dukkon, 1992, Дуккон, 2010]. Актуальность темы не снимается; в последние десятилетия появились статьи, в которых затрагиваются вопросы влияния анархической философии XIX века на В.Г. Белинского и Ф.М. Достоевского [Тусичишный, 2009; Кибальник, 2012]. Для нас интересно, что скрывается за **идеями**: вопросы эпохи, волнующие мыслящих людей, сознательно, полусознательно и бессознательно встраиваясь в их сознание, овеществляются в творчестве.

Давно уже философы и литературоведы [Шестов, 1964; Долинин, 1963] обратили внимание на скрытое «двойничество» Достоевского и Белинского².

Повесть «Записки из подполья» считается важной вехой в творчестве Достоевского. Она – как водораздел – суммирует на более высоком уровне все проблемы предыдущего периода и одновременно открывает новые перспективы в литературном изображении сугубо философических вопросов.

«Записки из подполья» Достоевский создал во время болезни и смерти своей первой жены, Марии Дмитриевны. К этому времени за ним уже т.н. гоголевский период, Сибирь и «переживание» каторги; повести и романы 1840 - 50-х гг., обогащающие традицию изображения «маленького человека»; за ним уже и оживленная публицистическая деятельность в редакции «Времени» и «Эпохи», первое путешествие по Западной Европе, о котором он рассказывает в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), накануне «открытия» «подпольной темы». Все эти переживания и впечатления в сжатой форме отражаются в парадоксальном герое «Записок...». И хотя в научной литературе о Достоевском уже исследованы биографические факты, связанные с этой повестью, и ее идейные аспекты, но художественное произведение – по природе своей – всегда призывает к диалогу, понуждает читателя снова и снова разгадывать тайны.

В середине 1860-х гг. Достоевский переходит от изображения маленьких людей с уязвленным самосознанием (Девушкин,

² Я хотела бы еще раз вернуться к основным проблемам своей статьи «Жизнь и литературная фикция...» [Dukkon, 1986], опубликованной в Венгрии в сборнике Сегедского Университета (1986), вышедшем маленьким тиражом, дополнив ее.

Голядкин) или мечтателей (Ордын в «Хозяйке», герой «Белых ночей») к созданию образа «сверхчеловека» – в главных чертах предшественника ницшеанского *Übermensch*. Появление русского сверхчеловека и немецкого *Übermensch* нельзя считать случайным совпадением или просто типологическим сходством – хотя и мы не предполагаем какую-то тесную связь и преемственность в художественной и философической постановке вопроса. Известно, что на Ф. Ницше Достоевский оказал большое влияние [Podach, 1961], но есть связующее звено между Сверхчеловеком Достоевского и Ницше: это книга немецкого философа Макса Штирнера «Единственный и его достояние» (1845)³. Молодой Ницше – по утверждению некоторых современников – мог познакомиться с книгой Штирнера через Гартманна (*Philosophie des Unbewußten*, Berlin, 1869) и Ланге (*Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart*, 1866), но не исключено и прямое знакомство, хотя это не подтверждается документально [Brobjer, 2003]. Зрелый Достоевский познакомился с идеями Штирнера в 1860-е г. [Отверженный, 1925], но книга Штирнера была известна в кругу Белинского в немецком издании. В середине 1840-х гг., как отмечает П.В. Анненков в своих воспоминаниях, она попала в руки Белинского, и это совпало с его разочарованием во французских социалистах-утопистах, прежде бывших предметом его воодушевления [Анненков, 1909].

Белинскому – как об этом свидетельствует его переписка – были близки те идеи и учения, в которых человеческой личности, неповторимости человеческого «Я» отводится особенно важная роль. Его «философские мытарства» в связи с Гегелем и потом с французскими утопистами вытекали именно из стремления насильно (и против своей духовной склонности) полюбить те

³ Немецкое издание: Stirner M. *Der Einzige und sein Eigenthum*. – Leipzig, 1845. О влиянии Штирнера на Ницше уже больше столетия ученые спорят. Мы разделяем позицию тех, кто понимает «влияние» в широком смысле слова, т.е. в форме какого-то духовного соприкосновения или вдохновения, без доктинерства или еще менее без «плагиата» – хотя некоторые исследователи допускают и это. Интересно проследить историю полемики на сайте «Relationship between Friedrich Nietzsche and Max Stirner» http://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_Friedrich_Nietzsche_and_Max_Stirner.

системы, в которых возвеличивается Всеобщее, а индивидуум подчиняется «этому Молоху» (так он в своих письмах называет гегелевское Allgemeine). Еще будучи членом кружка Станкевича, в 1830-е гг., он страстно полемизирует с Бакуниным по поводу понимания таких категорий философии Гегеля, как «Абсолют», «Всеобщее» и т.д. Уже в этой полемике очевидно, что Белинского не будут устраивать эти отвлеченные понятия, что философия нужна ему не как предмет познания, а как духовная пища, как живой источник развития своей личности; но для такой цели гегелевская философия, да и вообще современные философские системы, малопригодны⁴. Гонимый постоянной тоской по какой-то настоящей ценности, после ряда разочарований в различных философских учениях, он вдруг знакомится с индивидуальным субъективизмом Штирнера. Ирония судьбы заключается в том, что Белинский искал «положительного абсолюта», а Штирнер предлагает негативный конец: мрачное достоинство и пустоту отрицания, nihil. Но именно в его философии есть элементы, которые для Белинского могли быть очень понятными и симпатичными: индетерминизм и отрицание всякой метафизики. Немецкий философ проповедует и защищает право индивидуума и отвергает лозунги французской революции, такие, как равенство, социальность, а эти понятия очень важны для Белинского: он дорожил ими даже тогда, когда перестал восторгаться какой бы то ни было философией.

Но отрицание Штирнера могло заинтересовать Белинского и потому, что оно, в отличие от системы Гегеля, создает самый радикальный индивидуализм, систему эгоизма, причем это не инстинктивный, животный эгоизм, а сознательный: человек хочет освободиться от всех цепей, от Бога, человечества, общества, веры, правды, чтобы, наконец, **найти самого себя**. Это же стремление

⁴ Но его философические искания не привели к полному отрицанию гегелевской эстетики. Польский литературовед Гжегож Пшебинда посвятил большую главу в своей книге этому вопросу: с одной стороны, он указывает на те главы критического творчества Белинского, которые сохранили влияние эстетической системы Гегеля, а, с другой стороны, подчеркивает наличие евангельского начала в духовном развитии Белинского, даже в раннем периоде. Мы думаем, именно в этом коренится его интерес к «единственности», уникальности каждого отдельного человека. См. [Przebinda, 1998].

характерно и для Белинского. В письме к Василию Боткину он пишет: «Мне теперь ни до кого нет дела, я никого не люблю, ни в ком не принимаю участия – потому что для меня настало такое время, когда я увидел ясно, что *или мне надо стать тем, чем я должен быть* (Курсив мой. – А.Д.), или отказаться от претензии на всякую жизнь, на всякое счастье» [Белинский, 1956, XI, с. 416].

Можно было бы привести еще доказательства схождения некоторых положений Штирнера и Белинского, раскрыв психологическую мотивацию интереса русского критика к немецкому философу, но для нас более значимы различия. Штирнер, несмотря на свою последовательность и искренность в отрицании, так же, как прежде Шеллинг, Гегель, французы, сулил бы Белинскому, если бы он увлекся его философией, новое разочарование. Ведь Белинский остался в душе «романтиком» и после своего «отрезвления» (как он называл в письмах свой духовный переворот на рубеже 1830 – 40-х гг.) он не мог жить без «прекрасного и высокого», как и бунтующие герои Достоевского (Подпольный человек, Раскольников), издевающиеся над собой; для него честь, правда, мораль всегда оставались ценностями. Отрицание Белинского вытекало из разочарования, отчаяния, будучи мотивированным психическими факторами, у Штирнера все строится на логике, и чувства не играют никакой роли. По свидетельству Анненкова, Белинский в этот раз был более осторожным: «Он уже боялся прямого, непосредственного философствования, и не хотел к нему возвращаться после своих старых опытов на этом поприще» [Анненков, 1909, с. 346].

Белинский, обладая тонким чутьем, заметил новые, интересные элементы в философии Штирнера, но уже не «влюбился» в нее, не отдался ей, как в молодости: жестокость системы немецкого философа и усиливающаяся болезнь Белинского сделали невозможным какое бы то ни было увлечение. Перед ним открылась та же пропасть, которую увидел чеховский персонаж, профессор из повести «Скучная история»: остались лишь картины прошлого с чувством разочарования, исчезла перспектива будущего. Но Белинский – как воспитанник эпохи позднего романтизма – боролся до конца, служил русской культуре со слабеющей силой и верой – но *все-таки* служил!

Достоевский в начале 1860-х гг. тоже познакомился с книгой Штирнера [Отверженный, 1925], и следы этой «встречи» в некотором отношении обнаруживаются в подпольном человеке и Раскольникове (см., напр., эгоизм первого – «миру ли провалиться или мне чаю не пить?») и идеи второго о сильной личности, о совести как о предрассудке и т.п.).

«Единственный» (Der Einzige) Штирнера, сверхчеловек Достоевского и Übermensch Ницше, являясь совокупностями, центрами философских воззрений каждого создателя, указывают на некоторую преемственность в вариантах отрицающего или необыкновенного человека. Можно так сформулировать связь между ними: на пути искания самого себя (self, внутреннего человека) у всех троих открылась *via negativa* (как у средневековых богоискателей), но они отправились по этой дороге до последнего предела по-разному. «Сверхчеловек» Достоевского и Übermensch Ницше стоят ближе друг к другу, чем к их предшественнику – эгоисту Штирнера. Венгерский философ Лайош Фюлеп (1885-1970) подчеркивает различия между штирнеровским и ницшеанским подходом: по его мнению, Ницше оказывается более поэтом и менее философом при создании своего сверхчеловека, он не доходит до абсолютного отрицания, как Штирнер, а только совершает трансформацию добра и зла, и под этой трансформацией скрывается ностальгия по прекрасному и высокому [Fülep, 1974]. Он добавляет, что в отношении имморализма и эгоизма не Ницше, а Штирнер является последним звеном – хотя он и предшествует Ницше.

Для нас очень важен тот факт, что видоизменения шиллеровского «прекрасного и высокого» появляются у Белинского, Достоевского и Ницше параллельно с влиянием Штирнера: у всех троих то гротескное, то трагическое чувство тоски по абсолютным ценностям сочетается с жестоким бунтом и отрицанием. Интерес к идеям Штирнера (в различной степени, более или менее скрыто или явно) всех троих авторов свидетельствует о том, что литературные варианты сверхчеловека у каждого одинаково связываются с поисками героя, формы, задачи, истины – и эти искания одинаково мотивированы глубоким духовным кризисом. Родственность настроений и исканий Белинского, Достоевского и Ницше обнаруживается в «Записках из

подполья», на этот фрагмент обращает внимание Лев Шестов: «Но Ницше знал “Записки из подполья” и восторженно о них отзывался. Нет ничего невозможного в том, что его столь вызывающая фраза – *pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam* (пусть погибнет мир, но будет философия, будет философ, я сам) есть только перевод слов подпольного человека: «свету ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда был» [Шестов, 1964, с. 201].

Слова «*fiat justitia, pereat mundus*», процитированные Шестовым, фигурируют и в письме Белинского к Боткину от 8 сент. 1841 г., когда он рассуждает о том, что людей – из-за их глупости – надо насильно вести к счастью и кровь тысячей ничтожна по сравнению с унижением и страданием миллионов: «К тому же, воспитание всегда делает нас или выше или ниже нашей природы, да сверх того, с нравственным улучшением должно возникнуть и физическое улучшение человека. И это делается через социальность. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. *Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью* (Курсив мой. – А.Д.). Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов. К тому же: *fiat justitia – pereat mundus!*» [Белинский, 1956, XII, с. 71].

Эта крылатая фраза играет также центральную роль в философии Штирнера, только там она не сочетается с якобинской программой насильственного просвещения и облагодетельствования людей, как у Белинского, а говорит об упразднении всяких идей, верований, идеологий с целью освобождения человечества от старых духовных и моральных связей. Джон Кэрроль, английский исследователь европейских либерально-рационалистических идей XIX в., обращает внимание на то, что книга Штирнера является психологической философией развития «Я», своего рода проповедью самоосуществления, и, таким образом, ее можно даже связывать с романом развития (*Bildungsroman*)⁵. Автор цитирует мнение Белинского о книге

⁵ «*Der Einzige* is a psychological philosophy of the growth of *ego*, of self-realization, and as such shares with the *Bildungsroman*» [Carrol, 1974, с. 16].

Штирнера, подчеркивающего, что отрицание, нигилизм немецкого философа является отнюдь не самоцельным анархическим жестом, а скорее психологическим обоснованием эгоизма, разоблачением лицемерия. Читая переписку Белинского, можно заметить острые выпады против маскировки настоящих человеческих стремлений во имя идей; в центре его страстной полемики с Бакуниным стоит именно право на беспредельную открытость, незавершенность личности, право оставить за собой последнее слово (что становится основой и поэтики Достоевского!): «Надо влезть в мою шкуру, чтоб узнать, чего мне нужно. Только поэтам предоставлена завидная участь вполне высказать себя, а нашему брату и то хорошо, коли удастся намекнуть» [Белинский, 1956, XII, с. 266].

Кэрроль считает Штирнера предшественником психологического мышления («psychological thinking») – метода, развиваемого далее Фрейдом. Основа философической инновации Штирнера и Ницше – это онтология, их принципиально новое понятие о религии, морали, о политической и общественной жизни. Белинский, как и Достоевский, понимал проблему личности и жизни именно в этом ключе, т.е. радикально. Цитируем опять Белинского, которому удалось, кстати, очень точно «намекнуть»: «Нет, Мишель, человек не машина – рычаг его движения в нем, а не вне: пусть себе всякий идет своими путями – кто спасается, спасайся, кто погибает – не мешай ему погибать» [Белинский, 1956, XI, с. 485].

Подпольный человек Достоевского, в образе которого отчасти осуществилась «завидная участь поэта вполне высказать себя», является опосредующим звеном между Белинским и Ницше (если представить себе виртуальную линию с 1840-х гг. по 1860 – 70-х гг.): можно проследить преемственность от кризисного состояния Белинского к возникновению образа подпольного человека (который родился из кризисного состояния Достоевского) и к сверхчеловеку Ницше. Эти три вызывающие позиции, кроме бунта, выражают еще печаль и трагизм одиночества, чувство, которое иногда переходит в презрение к «обыкновенным людям», к толпе. Читая Достоевского, М. Горький тоже обратил внимание на связь между русским и немецким сверхчеловеком; для него повесть «Записки из подполья» освещает всю философию Ницше: «Весь Ф. Ницше для меня в «Записках из подполья». (...) В этой книге – ее

все не умеют читать, – дано на всю Европу о/бо/снование нигилизма и анархизма. Ницше грубее До/стоевского» [Горький, 1968, с. 21].

Когда молодой Белинский в кружке Станкевича и под влиянием Бакунина увлекся идеями Шеллинга, Фихте и объективным идеализмом Гегеля, он не подозревал, какой вред нанесет себе тем, что свою живую жизнь во что бы то ни стало захочет перевести в этот отвлеченный мир; сознательно и бессознательно, измеряя себя Всеобщим и Абсолютом. В письме М. Бакунину 16 августа 1837 г. он исповедует, отмечая уязвимость своего духовного состояния под влиянием этого философского приключения: «Жизнь идеальная и жизнь действительная всегда двоились в моих понятиях: прямухинская гармония и знакомство с идеями Фихте, благодаря тебе, в первый раз убедили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота. И я узнал о существовании этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое бессилие усвоить ее себе; я узнал рай, для того чтобы удостовериться, что только приближение к его воротам – не наслаждение, но только предощущение его гармонии и его ароматов – есть единственная возможная моя жизнь» [Белинский, 1956, XI, с. 175].

Белинскому кажется, что идеал и действительность исключают друг друга, появляются как мучительная двойственность, ставящая человека перед выбором. По сути дела, он перефразирует платоновский парадокс (что было естественно под влиянием Гегеля и Фихте) и признается, что идеальный мир ему недоступен, возможно лишь приближение к идеалу. Несколько лет продолжается это колебание Белинского между духом и материей: то эмпирическую действительность называет он палачом личности, то стремление к духовному миру – пустым прекраснодушием; то примиряется с эмпирией и видит врага в отвлеченных идеалах, то считает самого себя жертвой этой двойственности. Результат борьбы – уяснение собственного положения – оказывается всегда отрицательным, потому что он в самом начале мало верит в положительную возможность, он готов считать себя недостойным «идеала». Самоосуждение у него сильнее, чем самоутверждение.

Около 1841 г. он дошел до той точки, когда порвалась натянутая струна. В этот период он написал В. Боткину знаменитое письмо (8. сент. 1841), на которое часто ссылаются литературоведы и философы, в том числе и Л. Шестов, который справедливо видит здесь прообраз бунта Ивана Карамазова [Шестов, 1964, с. 175]. В этом письме Белинский отказывается от гармонии, купленной страданием, от мысли, заимствованной из гегелевской философии, согласно которой, дисгармония есть условие гармонии, историческое развитие неизбежно требует жертв. Он страстно вопрошает, имеет ли он право отдаваться искусству и знанию, когда в плохо устроенном мире нет возможности делиться своим пониманием с ближними: «Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними по Христу, но кто – мне чужие и враги по своему невежеству?» [Белинский, 1956, XII, с. 70].

Это признание свидетельствует о том, что сострадание и альтруизм еще дороги Белинскому, и в этой стадии развития личности он отверг бы принципиальный эгоизм Штирнера. Он еще верит в идею социальности («Социальность, социальность – или смерть!») и проповедует отрицание в якобинском духе – что и отличает его подход от штирнеровского: «Я ожесточен против всех субстанциональных начал, связывающих в качестве верования волю человека! Отрицание – мой бог. В истории мои герои разрушители старого – Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы; Байрон (*Каин*) и т.п.» [Белинский, 1956, XII, с. 70].

«Ожесточение» Белинского наконец завершается выше цитированной фразой *fiat justitia – pereat mundus*, таким образом он возвращается к исходному пункту, круг замыкается, ведь – «зло злым спасается» (перефразируя слова Достоевского из *Дневника писателя* «Ложь ложью спасается»). Если критик во имя гуманности не принимает тезис о необходимых жертвах исторического развития, то на таком же основании он должен был бы отвергнуть и принцип террора, разрушения, отрицания, потому что при использовании таких средств историческая цель достигается также ценой невинной крови, страдания, через

несправедливость и непредвиденные трагедии, как и в первом случае. Молодого Белинского пока захватывает мысль о том, что террорист, герой-разрушитель лучше знает, чем философ, как надо вести толпу к счастью, поэтому он отрицает любой субстанциональный принцип, который в форме какого-либо верования связывает волю и совесть человека. И здесь обнаруживается общий со Штирнером мотив: это протест против всякого лицемерия и самообмана (когда человек от зияющей пропасти исторических антиномий скрывается за идеями), против «примирения» с действительностью.

Цитированное выше письмо интересно не только высказанными в нем противоречивыми мыслями, не только они связывают его с миром Достоевского. Белинский касается в этот раз глобального вопроса, а именно: губительного влияния безличности и дедукции. Если своевольно абстрагируются определенные мысли, тезисы какой-то философии, извлекаются и применяются к практическим, актуальным программам, обязательно происходит их деформация: то, к чему, напр., Гегель пришел путем индукции, то в обобщении и переосмыслении Белинского и Бакунина является лишь дедукцией, формулой, которой можно оперировать, как угодно, но которая уже лишена непосредственного, личного начала и внутренней правды. (*Mutatis mutandis*, это мы в XX веке видели и в судьбе философии Карла Маркса и в ее историческом «применении».)

Тонкий и глубокий ум Белинского, в конце концов, не мог удовлетвориться такой стерилизованной идеей, тогда как его антипод, Бакунин, мог жить в этом вторичном, абстрактном мире: его существо расцветало именно в сфере умозрительной, спекулятивной деятельности разума, а потом из него вышел настоящий анархист [Корнилов, 1915].

Некоторая односторонность концепции Шестова обусловлена тем, что он сосредоточивается на вышеупомянутом «переломе», на «перерождении убеждений» и сам настроивается против Гегеля (что вытекает отчасти из собственного духовного развития). Имя немецкого философа для него служит лишь для обозначения определенной типологической группы: в оценочной системе Шестова оно сигнализирует т.н. объективную линию (т.е. неперсональную, не-трагичную), к которой он причисляет, напр.,

Аристотеля, Пелагия, Льва Толстого, в противовес субъективной, трагической, к которой принадлежат Св. Августин, Лютер, Киркегор, Достоевский. Он справедливо причисляет Белинского и Достоевского к одной и той же типологической группе, но при этом не входит в подробности, не останавливается на различии в мышлении критика и писателя. Разочарование Достоевского в утопических идеях совершается во время каторги и ссылки, но лишь в начале 1860-х гг. оно сознается полностью и получает выражение. В кризисе Достоевского важную роль играет также встреча с духом обезличивания и дедукции: в «Зимних заметках...» и «Записках из подполья» он критикует западную цивилизацию, идеи капитализма и утопического социализма, потому что они тоже насильно, по своему рецепту, хотят «спасать» человечество, при помощи предварительно изготовленных схем – ради земных, конечных интересов. Свободную личность эта цивилизация (теперь уже глобализация) старается заключить в фаланстер, в «муравейник», в мир $2 \times 2 = 4$, игнорируя ее внутреннюю бесконечность, неповторимость – и связь с «иными мирами».

При сопоставлении отношения Достоевского и Белинского к проблеме безличности представляется очень интересными наблюдения над одним и тем же мотивом у обоих: это $2 \times 2 = 4$. Белинский в письме к Боткину (1843) говорит о том, что разговоры с Тургеневым оказали на него отрезвляющее влияние: «Тургенев поразил меня нечаянно, сказавши к слову, что Гегель где-то выразился, что дельный человек тот, кто коли видит, что $2 \times 2 = 4$, так и ставит 4, а пустой (прекрасная душа) тот, кто хоть и видит, что $2 \times 2 = 4$, а все норовит, как (бы) поставить 5 или 10. До сих пор вся жизнь моя протекла в том, что я видел и понимал, что $2 \times 2 = 4$, а ставил 5. Теперь я не могу быть так глупо малодушным, но от этого мне не легче – в этом мой смертный приговор: ждать уже нечего, и в душе распространяется холод, сырость и смрад могилы. Я держался глупостью – подпора упала – и я падаю с нею» [Белинский, 1956, XII, с. 150-151].

Белинский – с характерной для него откровенностью – признается в том, что до сих пор он сам был «прекрасной душой», мечтателем, но слова Тургенева его будто отрезвили. В его самобичевании, отмежевании от «идеальности» опять скрывается противоречие: фраза Тургенева, заимствованная из Гегеля, звучит

для Белинского так авторитетно, как раньше звучали другие гегелевские фразы, истолкованные в «романтическом» ключе Станкевичем и Бакуниным. Искания и духовное развитие критика совершаются через страстные столкновения то с самим собой, то с окружающими лицами, и оттого в его текстах (письмах и критических произведениях) так сильно чувствуется исповедальный, персональный тон.

Продолжая сопоставление тональности эпистолярного наследия критика с художественным миром Достоевского, мы можем усмотреть в духовной борьбе Белинского и внутренних терзаниях подпольного человека общий мотив: это ретроспективный взгляд на юношеские – уже «несостоятельные», «прекраснодушные» – идеалы и разлад между внешним (общественным) и внутренним человеком.

В повести Достоевского формула $2 \times 2 = 4$ появляется с отрицательным знаком: подпольный человек считает ее одновременно досадной и страшной из-за беспощадной ее завершенности, точности: «По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнь жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, – ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскать. [...] Но дважды два четыре – все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре – ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертотом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре – превосходная вещь, но если уже все хвалить, то и дважды два пять – премилая иногда вещица» [Достоевский, 1973, V, с. 119].

Подпольный человек разоблачает пустоту и конечность, стоящие за этой формулой, и выражает симпатию к фантастичным, парадоксальным, для разума не приемлемым аспектам жизни. Сравнивая поведение обоих, мы можем заметить, что Белинский, в противовес своим наклонностям, принимает взгляд Тургенева и опять попадает под обаяние какой-то безличной правды; ему кажется, что во имя здравого смысла он **должен** осудить и подавить все свои особенности, иногда фантастичные, «высокие»

мечты и другие требования личности. Как раньше он бичевал и защищал себя в полемике с Бакуниным потому, что из-за бытовых нужд был не в состоянии подняться в мир чистых идей, Абсолюта (юноши в кружке Станкевича ожидали от себя и от других не меньшего), так и теперь он опять обвиняет **себя**, под бременем услышанной от Тургенева и действующей на него как откровение правды. Каприз подпольного человека и бунт его против окончательной, безапелляционной правды явно восходят к Белинскому: Достоевский бессознательно воспроизводит сущность духовных исканий Белинского, умершего уже 16 лет тому назад.

Постановка вопросов и структура повести «Записки из подполья» внушают мысль о том, что Достоевский рассчитывается со своими юношескими идеалами, со своим мечтательным периодом. 15-16 лет разницы во временных плоскостях первой и второй части произведения говорит о том, что герой Достоевского в 1840-х гг. был романтическим мечтателем⁶ и без иронии верил в $2 \times 2 = 5$ тогда, когда Белинский, уже разочаровавшись и в $2 \times 2 = 4$ (значит в «отрезвлении», «дельности»), смотрел в глаза смерти, без нового идеала. Подпольный же человек – в настоящем времени повествования, в начале 1860-х гг., – уже знает цену реальной и фантастической «правды», не обращается доверчиво к $2 \times 2 = 4$, как Белинский, но и $2 \times 2 = 5$ (т.е. романтический бунт против обыденности) упоминает им только с иронией. Мы полагаем, что это двойное отмежевание: ни обычный, ни фантастический мир не устраивает его, чего-то третьего не хватает («Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то

⁶ Ю. Манн в анализе «Белых ночей» (1986) раскрывает оттенки и противоречия психики мечтателя, отмечая тонкие связи этого типа с литературой романтизма. Нашу концепцию **о созвучиях голоса** Белинского и персонажа Достоевского подтверждают и замечания Ю. Манна о том, как глубоко понял критик сущность романтического мечтательства. Цитируя высказывания Белинского о поэзии Жуковского, Пушкина, он обобщает его взгляды так: «Романтическое воодушевление, подчас со всеми его крайностями, по Белинскому, – необходимый этап развития каждого человека (как и человечества в целом). Низок и мелок тот, кому не довелось пережить этого этапа. Но горе и тому, кто остался в его границах навсегда. В пору создания «Белых ночей», примерно такого же взгляда на романтизм придерживался и Достоевский. Взгляд достаточно определенного, но не простого, вовсе не сводимого к однозначному ответу: да или нет? Хорошо или плохо?» [Манн, 2008, с. 337-353].

другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду» [Достоевский, 1973, V, с. 121]) – это тотальное сомнение и мимоходом высказанная **жажда веры** обуславливают внутренний динамизм антропологии Достоевского. Те трагические – потому что окончательные – акты отрицания, которые Белинский переживал так часто (ощущение того «нигиля», о котором говорит и Штирнер), в творчестве Достоевского воплощаются лишь в отдельных «голосах», с которыми противоборствуют другие равноправные голоса. Подобно мчащимся душам в «Божественной комедии» Данте (*Чистилище*, песня 18 «Тайны любви»), душа Белинского, обольщенная часто прекрасными образами-идеями, не могла остановиться ни на какой временной, преходящей мечте, но и не могла кристаллизовать приобретенную истину. Неслучайно он сравнивает себя с Дон Кихотом, сочетающим в себе пафос и комизм. Так, в письме к Николаю Бакунину (брату Михаила) Белинский признается: «Опыт сорвал покров с жизни – и я увидел румяна на очаровательных щеках этого призрака, увидел, что об руку с ним идет смерть и тление – противоречие. Она хороша для тех, для кого хороша, и только на то время, когда хороша. Для меня она никогда не была добра, и я бескорыстно курил ей фимиам, как Дон Кихот своей Дульцинее» [Белинский, 1956, XII, с. 160].

Сравнение самого себя с Дон Кихотом несколько раз появляется в письмах Белинского, а его друзья – Некрасов и Тургенев – используют сопоставление Дон Кихота с Достоевским в однозначно сатирическом контексте. Это произошло уже после отчуждения Белинского и Достоевского друг от друга (1846), когда критик откровенно признался, что он ошибся, переоценив талант Достоевского. В колкой эпиграмме Тургенева и Некрасова («Послание Белинского к Достоевскому») отсутствует пафос замечательного героя Сервантеса и слишком преобладает причудливость «витязя горестной фигуры», что могло быть особенно обидным для молодого писателя, потерявшего благосклонность Белинского.

К образу Дон Кихота питали привязанность и Белинский, и Достоевский, для обоих он – символ амбивалентных ценностей в процессе самопознания. Тургенев и Некрасов очень метко, хотя и с негативной интонацией, связывают отношение писателя и критика

к Дон Кихоту; они отлично знали литературный вкус и человеческое окружение Белинского. Письма и повесть в утверждении $2x2=5$ обнаруживают т.н. «донкихотское» состояние души и Белинского, и подпольного человека, хотя акцентируется разное: восторженность, неистовство, доверчивость, размах мыслей и служение благородным целям у Белинского напоминают сервантесовский, ренессансный архетип, в образе же подпольного человека восторженность и неистовство сливаются с гамлетовскими сомнениями и эгоцентризмом, с ядом слишком развитого сознания. Эссе Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» (1860) является связующим звеном между идеями 40-х и 60-х годов, в равной степени служит ключом к интерпретации приватного, жизненного кризиса Белинского и литературного образа в произведении Достоевского, демонстрируя, как «действует» жизнь в литературе и литература в жизни.

При чтении писем и статей Белинского бросается в глаза субъективный характер его стиля. Письма к Боткину, Станкевичу и Бакунину часто переходят в исповедь, в страстные самоосуждения и самооправдания. Он вел с ними роковые диалоги, споры – и не только письменно. Этим объясняется перевес живой разговорной речи в его письмах и статьях. Он так живо представляет адресата с его настоящими и воображаемыми аргументами, как будто пишет не письмо, а литературное произведение, в котором «собеседник» (другой голос) выдуман им. Из выше названных друзей особенно Бакунин вызывал у Белинского крайние, противоречивые чувства. В начале знакомства они писали друг другу восторженные, «философические» письма, темами которых были Идеал, Действительность, Любовь, Абсолютный дух и т.д. И когда выяснилось, что Белинский философствует, чтобы жить, а Бакунин наоборот, живет, чтобы философствовать, по формулировке критика, их письменные диалоги превратились в борьбу. В письме от 10 сент. 1838 г. Белинский пишет Мишелю: «Я сам, обращаясь назад, вижу в своей жизни одни страдания, апатию, падение; восстание, грех, покаяние и все это вследствие отвлеченности, пошлого шиллеризма, натянутости, претензий на гениальность, боязни быть простым малым. Но я хватился за ум и теперь за поцелуй, за улыбку охотно плюну на философию, на науку, журнал, мысль и на все. Ощущения волнования жизни – это

главное; а там можно и пофилософствовать – этак, как выкинется – иногда прозой и иногда и стишками. Ты как-то не мыслью поверяешь жизнь, а жизнью меришь мысль и жизнь вечно подводишь под мысль» [Белинский, 1956, XI, с. 188].

С усилением этой противоположной настроенности растет и напряжение. В самый бурный период их переписки в голосе Белинского звучат самоосуждение и самоутверждение будущего подпольного человека, для которого было принципиально и жизненно важно – опередить воображаемого собеседника, сказав последнее слово **о себе**: голос подпольного человека ассоциирует те модуляции голоса Белинского, которые слышатся в исповедальном тоне его писем. В этом случае можно лишь условно использовать термин «архетип». В литературном произведении играют роль не только доказуемые непосредственные впечатления, ведь писатель в первую очередь опирается на свой внутренний опыт и вдохновение, а нужный материал берет, где находит – из окружения, из самого духа времени⁷. Поэтому мы считаем убедительным мнение Долинина, что Белинский – двойник Достоевского: «Но Белинский: он ведь тоже “бог знает от кого происходит, отец его был так же военным лекарем”, как и отец Достоевского. И не в силу ли одинаковости происхождения у него с Белинским и сходная душевная организация, та же способность до конца воспламеняться идеей, отдаваться ей восторженно и всецело до тех пор, пока она им владеет, а потом так же страстно с проклятиями на нее обрушиться, когда убеждения изменились, и прежний кумир оказался ложным. Двойник, его преследующий всю жизнь, вросший в его сердце неотрывными краями – таков Белинский для Достоевского» [Долинин, 1930, X].

⁷ Немецкий исследователь Достоевского Хорст-Юрген Геригк рассматривает творчество Достоевского с точки зрения форм и функций диалога. Он полемизирует с механическими способами нарратологии, которые ограничиваются лишь каталогизацией литературных приемов. Автор статьи рассматривает психологические (innerfiktionale) и поэтологические (außenfiktionale) обоснования фактов, прослеживает путь художественной интеллигенции, освещая все грани данного произведения. В этом контексте пишет о «Записках из подполья» как о сложной игре Достоевского с читателем (Dostijewskijs Spiel mit dem Leser: Verstecken und Offenlegen) и о суверенности писателя в использовании внешнего и внутреннего материала [Gerigk, 2008].

Можно дополнить Долинина, указав на биографическое сходство: сходство в духовном облике выражается в юношеской претензии на гениальность, в страстном влечении к литературе, склонности к мечтанию, в чувстве неудовлетворенности личной жизни – сходство, скоро переходящее в диаметрально противоположность. Белинский уже давно раскаялся в претензии на гениальность, в романтических мечтаниях, «донкихотстве», когда Достоевский, десятью годами его моложе, подошел к этой стадии. Усталый и больной критик столкнулся со своим прежним «Я» в молодом писателе – и отвернулся. Судьба не дала Достоевскому возможности оправдать первое впечатление критика, он не мог доказать ему свою гениальность, и поэтому боролся с его памятью до конца жизни.

Письма Белинского демонстрируют, что в начале 1840-х гг. в русской действительности возникли психические предпосылки для появления типа подпольного человека. Неслучайно действие второй части «Записок...» происходит в 40-е гг.: кризис Белинского в это время достигает кульминации (см. вышеупомянутые искания нового идеала, появление Штирнера в его кругозоре), а Достоевский еще экспериментирует с шиллеровским «прекрасным и высоким». Но спустя почти два десятилетия в образе подпольного человека раслаиваются общие мотивы психограммы писателя и критика: амбиция, чувство неполноценности, тщеславие, восторженность, апатия, мечтательство и страстная жажда истинных ценностей. Переписка Белинского сохранила более разнообразные оттенки личности, чем литературная фикция, что объясняется различием жанров, хотя в эпистолярной Белинского много «литературности» (напр., сознательная риторизированность текста)⁸. Повесть Достоевского можно считать своеобразной извращенной исповедью: герой к концу исповеди старается не оправдать, а еще больше проклясть самого себя, и этим как будто подчеркнуть напряжение между выразимым и невыразимым: «...вовсе не подполье лучше, а что-то другое, которого я жажду, и которого никак не найду!». И как Белинский не щадил себя в письмах, так и Достоевский еще решительнее перевел тон повести в направление отрицательное. Подполье у Достоевского символизирует какое-то современное «сошествие во ад»,

⁸ Именно это свойство гарантирует переписке оригинальность и яркость.

негативный путь познания самого себя; человек на этом пути заблудился; неверие, сомнение и страх мешают ему найти «то другое», которого он жаждет⁹.

Среди писем Белинского есть еще много таких, в которых вырисовывается смутный прообраз будущего подпольного человека. В письме от 1 ноября 1837 г. он рассказывает Бакунину о литературных планах: хочет написать «Переписку двух друзей», сочинение, в котором изображает два этапа развития души. Так он набрасывает сюжет: «Короче сказать, в этой прекрасной душе я изображу себя и, надеюсь, очень верно; и в этом портрете я *наплюю на самого себя и оплачу самого себя*. (Курсив мой. – А.Д.) Я изображу себя в двух эпохах жизни: в той, в которую я жил в одном чувстве и прятал свое чувство от разума, как цветок от мороза; и в той, в которую я сознал тождество чувства с разумом, любви с сознанием, но приобрел через это не полное блаженство жизни, а только объективное сознание ее» [Белинский, 1956, XI, с. 188].

Фраза «я наплюю на самого себя и оплачу самого себя» точно выражает то, что создал Достоевский в образе подпольного человека. Этот мотив подчеркивает еще раз вышеупомянутую общность в духовном облике критика и писателя, связанную с понятием двойничества. О неоднозначном отношении Достоевского к критику свидетельствует его письмо к вдове Белинского (от 5 января 1863 года), в котором он тепло вспоминает

⁹ Мы ссылаемся на трактаты Кьеркегора – современника и Белинского, и Достоевского – «Страх и трепет» (1843) и «Понятие страха» (1844), в которых также остро ставится вопрос веры: «Рыцарь веры предоставлен лишь себе самому – вот в чем весь ужас. Большинство людей относятся к этическим обязательствам так, что предоставляют каждому дню свою заботу, но зато они никогда и не доходят до той страстной сосредоточенности, той энергичной уверенности, как рыцарь веры. Трагическому герою может в известном смысле помочь дойти до этого общее, рыцарь же веры предоставлен себе самому» [Кьеркегор, электронный ресурс: <http://www.vchi.net/kierkegor/kjerkegor.html>]. В душе Белинского происходит борьба за такую именно веру, и в образе подпольного человека тоже можем усмотреть торс и деформацию рыцаря веры, который попал в плен проклятого круга (circulus vitiosus). Более подробно о Достоевском и Кьеркегоре см.: [Фришман, 1991, с. 60].

о прежней дружбе: «Простите меня великодушно, что я слишком долго не отвечал на ваше прекрасное и доброе письмо. Но сначала был занят, а потом болен, потому и опоздал. Письмо ваше произвело на меня чрезвычайно приятное впечатление. *Я до того любил и уважал вашего незабвенного мужа и вместе с тем мне так приятно было припомнить все то лучшее время моей жизни* (курсив мой. – А.Д.), что я от души мысленно поблагодарил вас за то, что вам вздумалось написать ко мне» [Достоевский, Письма II, с. 313-314]. Мы убеждены, что не просто вежливость заставляет Достоевского написать такое письмо: тот факт, что все-таки Белинский «посвятил его в рыцари» в области литературы, воодушевив после первых его шагов, несмотря на совершившееся позже расхождение и отчуждение, сохранил для Достоевского важность и ценность до конца жизни. На основе анализа переписки и произведений мы делаем вывод, что с этого письма к Белинской начинается борьба Достоевского с памятью критика. «Записки из подполья» – первое такое произведение, в котором слышится **голос** Белинского. Отношение Достоевского к памяти и духовному наследству Белинского в дальнейшем становится все более и более отрицательным, что выражается уже совсем откровенно в его переписке, а в романах и в «Дневнике писателя» – с разнообразными оттенками.

Важно подчеркнуть и то, что Достоевский трансформирует не личность, а **голос** критика в образ подпольного человека: Белинский не является здесь прототипом в общепринятом смысле этого слова, а **его голос становится «двойником» авторского слова**, и вместе они приобретают «трагичное» или «гротескное» в ходе повествования.

М. Бахтин называет повесть такой *Icherzählung*, которая в форме дурной бесконечности приводит безысходные диалогические противостояния и преобразует однозначную монологическую исповедь в диалог, который ведет «Я» с самим собой или с отражающимися в собственном сознании чужими голосами. Условие этого преобразования – в той сугубо личной позиции, с которой Достоевский обращается к миру; по терминологии Бахтина, – в отсутствии перспективы: «Момент обращения присущ всякому слову у Достоевского, слову рассказа в такой же степени, как и слову героя. В мире Достоевского вообще нет ничего

вещного, нет предмета, объекта, – есть только субъекты» [Бахтин, 1977, с. 276].

Подобная позиция была характерна и для Белинского: мы говорили уже о субъективном тоне его писем и некоторых статей, о его неприязни к абстракциям и обобщениям, о безоговорочном уважении к личности. В его стиле преобладают элементы разговорной речи; эмоции и настроения часто выражаются в ругательствах, живых и выразительных, и в единственно ему присущих оборотах речи. Его стиль роднит со стилем Достоевского свойство представить адресата в осязаемой форме. Разница в том, что Белинский в письмах, всегда обращающемся к *реальному второму лицу*, – диалог настоящего «Я» с «Ты», а в мире литературной фикции эта персональность и диалогичность становятся основой поэтики, структура абстрагируется и диалог может продолжаться и внутри одного сознания – как мы видим в случае подпольного человека.

Есть такие полоса в жизни, когда лишь сильные психические энергии, напряженность и восторженность, острое переживание кризиса помогают личности оставаться на уровне диалога, противостоять таким внутренним врагам, как апатия, инерция, и внешним, таким, как обезличивание, превращение в вещь или массового человека. Растворение в мире Всеобщего одновременно является угрозой и искушением для индивидуума, оно возбуждает в душе тот «трепет и страх», о котором пишет Кьеркегор, и который по собственному опыту знают и Белинский, и Достоевский. Это амбивалентное чувство прозвучало и в лирике Тютчева: в стихотворении «*Смотри, как на речном просторе...*» (1851). «Всеобщее» философии предстает в образе природной стихии, когда «во всеобъемлющее море / За льдиной льдина вслед плывет» – и впускает параллель с человеческой судьбой:

О, нашей мысли обольщенье,

Ты, человеческое Я,

Не таково ль твое значенье.

Не такова ль судьба твоя?

(Тютчев, 1965, I, с. 130)

В настоящей работе мы постарались указать на те мотивы в переписке Белинского и в «Записках из подполья» Достоевского,

которые обнаруживают сходство их «душевной организации» и объясняют проблематичность отношения писателя к критику – но и к своему подпольному антигерою. На фоне их дружбы и расхождения стали ощутимы различные философические веяния эпохи (романтический идеализм, философия эгоизма, нигилизма, идея социальности и т.д.) и психологические комплексы («двойничество»). В специальной литературе в связи с Достоевским уже давно упоминаются имена Штирнера, Ницше, Кьеркегора, понятия, как диалогичность, персональная философия; Белинский же остался для литературного сознания прежде всего Критиком (=отождествлялся с призванием), предметом литературоведения, хотя в его эпистолярии появляются те современные проблемы, которые волновали и всю мыслящую Европу. Именно в 40-е годы XIX века, когда молодой Кьеркегор борется с гегелевской системой философствования и ищет истину, «которая рождается в диалоге, но ее невозможно изложить другому в готовой форме»¹⁰, – Белинскому также это «невыразимое» доставляет трудности. Но если мы читаем его письма и статьи как единый корпус, **единый текст** (учитывая, конечно жанровые различия), так становится ясным его современность, оригинальность – и актуальность. Для нас, прежде всего, представляют интерес те литературные формы и приемы, через которые проблемы живой жизни (цитируя слова Достоевского) обрели словесный покров. В переписке Белинского драма собственной жизни рождает диалогичность, а в творчестве Достоевского проникновение в драму человеческой жизни вообще ведет к этому же способу мышления¹¹.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

¹⁰ Сарафанова, А. О силе «мертвой буквы» (Комментарий к «Дневнику обольстителя») / А. Сарафанова // Кьеркегор С. Дневник обольстителя: Роман / пер. с дат. П. Ганзена. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – С. 225-237.

¹¹ «Это истина, которая рождается в диалоге, но ее невозможно изложить другому в готовой форме». Такая манера повествования близка и Достоевскому, что, естественно, было замечено Бахтиным, а затем и другими исследователями, и породило первые «русские версии» Кьеркегора» [Сарафанова, 2006, с. 225-237].

Анненков, П.В. Литературные воспоминания. Замечательное десятилетие / П. В. Анненков. – СПб.: Типография Стасюлевича, 1909. – 590 с.

Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин. – Советская Россия, 1979. – 320 с.

Белинский, В.Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. / В.Г. Белинский. – М.: АН СССР, 1956-1959. – Т. XI. – 1956. – 718 с. Т. XII. – 596 с. Т. XIII. – 826 с.

Долинин, А.С. Предисловие / А.С. Долинин // Достоевский Ф.М. Письма / Под редакцией А.С. Долинина. – Т. I-IV. – М.;Л.: ГИЗ-Гослитиздат, 1928-1959.

Долинин, А.С. Последние романы Достоевского / А.С. Долинин. – М.: Л.: Советский писатель, 1963. – 344 с.

Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 5 / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука, 1973. – 407 с.

Дуккон, А. Жизнь и литературная фикция в «Записках из подполья» Ф.М. Достоевского (Достоевский и Белинский) / Агнеш Дуккон // *Dissertationes Slavicae XVIII*. – Szeged, 1986. – P. 185-207.

Дуккон, А. Проблема двойника у Гоголя и Достоевского / Агнеш Дуккон // *Studia Slavica Hungarica*. – 1987. – 33/1-4. – P. 207-221.

Дуккон, А. На перекрестке жанров: атрибуты исповеди и дневника в эпистолярной Белинского / Агнеш Дуккон // *Memuartytyka rosyjska i jej konteksty kulturowe. Studia Rosica XX*. Tom I. / Red. naukowa Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łucewicz. – Warszawa, 2010. – P. 145-153.

Из архива А.М. Горького // Русская литература. – 1968. – № 2.

Кибальник, С.А. Достоевский и Макс Штирнер (О философских истоках антииндивидуализма и антирационализма писателя) / С.А. Кибальник // Достоевский и современность. Материалы XXVI Международных Старорусских чтений 2011 года / ред. Н.Н. Подосокорский; Новгородский музей-заповедник. – Великий Новгород, 2012. – С. 172-180.

Корнилов, А.А. Молодые годы Бакунина. Из философии русского романтизма / А.А. Корнилов. – М.: Сабашниковых, 1915. – 718 с.

Манн, Ю.В. Семь знаковых слов («О Белых ночах» Ф.М. Достоевского) / Ю.В. Манн // Манн Ю.В. Тургенев и другие. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2008. – С. 337-353.

Отверженный, Н. Штирнер и Достоевский / Н. Отверженный (И.Г. Булычев). – М.: Голос труда. Военная типография, 1925. – 79 с.

Сарафанова, А. О силе «мертвой буквы» (Комментарий к «Дневнику обольстителя») / А. Сарафанова // Кьеркегор С. Дневник обольстителя: Роман / пер. с дат. П. Ганзена. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – С. 225-237.

Тютчев, Ф.И. Лирика / изд. подготовил К.В. Пигарев / Ф.И. Тютчев. – М.: Наука, 1965. Т. I. – 448 с. (сер. «Литературные памятники»).

Шестов, Л. О «перерождении убеждений» у Достоевского / Л. Шестов // Шестов Л. Умозрение и откровение. – Париж: YMCA-PRESS, 1964. – P. 171-196.

Тусичишный, А.П. О конфликте в повести «Двойник» в контексте философии Макса Штирнера / А.П. Тусичишный // Болгарская русистика. – 2009. – № 3-4. – С. 111-122.

Фришман, А. Достоевский и Кьеркегор: диалог и молчание / А. Фришман // Из истории русской эстетической мысли. – СПб., 1993. – С. 55-71.

Brobjer, Thomas H. A Possible Solution to the Stirner-Nietzsche Question / Thomas H. Brobjer // Journal of Nietzsche Studies. – 2003. – № 25. – P. 109-114.

Dukkon, A. К вопросу о некоторых проблемах оценки расхождений между Достоевским и Белинским / Агнеш Дуккон // Acta Universitatis Szegediensis. Dissertationes Slavicae. – 1982. – № 15. – С. 67-84.

Dukkon, A. Жизнь и литературная фикция в «Записках из подполья» Ф.М. Достоевского (Достоевский и Белинский) / Агнеш Дуккон // Dissertationes Slavicae XVIII. – Szeged, 1986. – P. 185-207.

Dukkon, A. Проблема двойника у Гоголя и Достоевского / Агнеш Дуккон // Studia Slavica Hung. – 1987. – 33/1-4. – С. 207-221.

Dukkon, Ágnes. Arcok és álarcok. Dosztojevszkij és Belinszkij [Дуккон, Агнеш. Лица и маски. Достоевский и Белинский] / Ágnes Dukkon. – Budapest, 1992.

Dukkon, Ágnes. Belinskij und Dostojewskij / Ágnes Dukkon // *Studia Slavica Hung.* – 1993. – 38/1-2. – С. 3-7.

Dukkon, А. Дважды два четыре или пять? Проблемы «романтизма» и «реализма» в понимании молодого Тургенева и Белинского / Агнеш Дуккон // И.С. Тургенев. Жизнь, творчество, традиции. – Budapest, 1994. – С. 60-68.

Dukkon, А. На перекрестке жанров: атрибуты исповеди и дневника в эпистолярной Белинского / Агнеш Дуккон // *Metuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe.* Studia Rosica XX. Т. I. / Red. naukowa Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łucewicz. – Warszawa, 2010. – P. 145-153.

Fülep, Lajos. Stirner (1906) / Lajos Fülep // Fülep L. [Л. Фюлеп]. A művészet forradalmától a nagy forradalomig [От революции искусства до великой революции]. – Budapest, 1974.

Gerigk, H.-J., Neuhäuser, R. Dostojewskij im Kreuzverhör. Ein Klassiker der Weltliteratur oder Ideologe des neuen Russland? Zwei Abhandlungen / Horst-Jürgen Gerigk, Rudolf Neuhäuser. – Heidelberg: Mattes Verlag, 2008. – 119 s.

Carrol, John. Break-Out from the Crystal Palace / John Carrol. – London, 1974. – 188 s.

Podach, Erich F. Friedrich Nietzsches Werke des Zusammenbruchs. Wolfgang Rothe Verlag / Erich F. Podach. – Heidelberg: Wolfgang Rothe Verlag, 1961. – 432 s.

Przebinda, G. Od Czaadajewa do Bierdjajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922) / Gregorz Przebinda // Nakładem Polskiej Akademii Umijętności– Kraków, 1998. – P. 13-48.

Stirner, M. Der Einzige und seine Eigentum / Max Stirner. – Leipzig, 1845.